

12. *Вяземский П.А.* Эстетика и литературная критика. – М., 1984. – С. 179. П.Я. Чаадаев, кстати, высоко оценил эту статью Вяземского как единственный объективный отзыв о ВМПД (*Чаадаев П.Я.* Полн. собр. соч.: В 2 т. – М., 1991. – Т. 2. – С. 202-204).

13. *Сенека Луций Анней.* Нравственные письма к Луцилию (в пер. С.А. Ошерова). – М., 1977. Письмо 1, фрагмент 2. Далее текст цитируется по этому переводу с указанием в круглых скобках номера письма и фрагмента письма через запятую.

14. *Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч.: В 14 т. Изд. АН СССР. – М.- Л., 1937-1952. – Т. VI. – С. 127. Далее тексты Гоголя цит. в следующем порядке: ВМПД - с указанием в круглых скобках номера письма; текст «Авторской исповеди» – по изд.: *Гоголь Н.В.* Собр. соч.: В 9 т. – М., 1994, с указанием в круглых скобках тома и страницы арабскими цифрами.

15. *Ошеров С.А.* Сенека. От Рима к миру // *Сенека Луций Анней.* Нравственные письма к Луцилию. – М., 1977. – С. 416.

16. Цит. по: *Павлов Н.Ф.* Сочинения. – М., 1985. – С. 264-265 (Московские ведомости. – 1847. № 28, 38, 46; перепечатано: Современник – 1847. Май, август). Ср. также замечание М. Вайскопфа о ВМПД: «Гоголевская методика пристального самоконтроля с целью планомерного очищения себя от недостатков могла быть подсказана <...> несметным множеством авторов, вплоть до стоиков и древнехристианских писателей» (Вайскопф М. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. – М., 1993. – С. 491).

Ювілеї

Владимир Воропаев

**Жизнь с Гоголем
К 120-летию со дня рождения Бориса Зайцева**

Два очерка Бориса Зайцева о Гоголе – «Гоголь на Пречистенском» и «Жизнь с Гоголем» – не относятся напрямую к гоголеведению, так как это вещи более художественного, чем научного порядка. Но в них живой кистью вполне достоверно запечатлены не только ушедшая эпоха, но и облик Гоголя. Более того, опыт читательского восприятия Зайцевым Гоголя в какой-то степени типичен для целого поколения. В первом очерке, опубликованном в парижской газете «Возрождение» (1931, 29 марта), автор говорит, что Пречистенский бульвар для Гоголя стал как бы «последним». Здесь, неподалеку – на Никитском бульваре – он жил, в доме Талызина у графа Александра Петровича Толстого. «Гоголь любил Пречистенский бульвар, – пишет Зайцев. – В нем самом не было светлого, но стремление к красоте – Рима ли, Италии, наших золотых куполов – всегда жило. И то, что прославить писателя Москва решила на Пречистенском, не удивляет». Тут, в начале бульвара, в 1909 году был поставлен памятник Гоголю. «На Тверском бульваре Пушкин уже входил в пейзаж, задумчиво поглядывая со Страстного на площадь с трамваями, – продолжает Зайцев. – Очередь дошла до Гоголя...» Памятник заказали скульптору Николаю Андрееву. Как известно, этот памятник в советское время был заменен другим. Андреевский же и сейчас находится во дворе дома, где умер Гоголь. Весной 1909 года Зайцев приехал из Рима и поселился на Сивцевом Вражке, в центре старой арбатской Москвы.

Характеризуя поставленный Гоголю памятник, он говорит, что Андреев, вращавшийся в кругу декадентов, изобразил его «измученным, согбенным». «Одним словом, памятник не выигрышный». Облик Гоголя здесь окрашен пониманием его, связанным с эпохой символизма. Устное предание повествует, что когда Гоголь жил на Никитском бульваре в доме графа Толстого, то по праздникам ходил в домовую Университетскую церковь св. мученицы Татианы. Студенты в церкви засматривались на Гоголя, который постоянно кутался в шинель, словно ему было холодно. Это предание было известно Андрееву и отразилось в позе Гоголя на памятнике.

Открытие памятника показано Зайцевым в слегка ироническом тоне, тоне некоторого разочарования: «Да, неказисто он сидел... и некий вздох прошел по толпе». Отметил писатель и «печальную сторону» речей на этом торжестве: их ходульность, официальность. Описана им и «скука» торжественного заседания по случаю юбилея Гоголя в Московском университете, на котором почти не было писателей. На другом юбилейном заседании – в консерватории – разразился скандал в связи с речью Валерия Брюсова, считавшего Гоголя «испепеленным» тайными бурями и страстями. Описывая внешний облик писателя, его манеры, докладчик все сильнее стал клонить к тому, насколько он был непривлекателен. Когда упомянул что-то «о желудке и пищеварении» Гоголя, – его прервали, стали кричать: «Довольно! Безобразие! Долой!» Речь окончена была под свист... Заканчивается очерк на минорной ноте: «Праздники кончились. Наша жизнь пошла нам данной чередой – гоголева по-своему. Как и при жизни, мало его любили. Одиноким Гоголь прожил. Одиноким перешел в вечность».

Очерк «Жизнь с Гоголем», напечатанный впервые в эмигрантском журнале «Современные записки» (1935, № 59) – собственно воспоминания о том, как читался и воспринимался Гоголь в жизни писателя Зайцева. Начинается он отрывком из первой книги его автобиографической тетралогии «Путешествие Глеба». «После вечернего чая – со сливками, горячим хлебом, ледяным маслом, в промежутке до ужина, под висевшей над столом лампой отец читал Гоголя. Мать шила. Девочки вязали. Глеб сидел рядом с отцом и благоговейно смотрел ему в рот.

Казаки носились по невиданному полю перед фантастическим Дубно и сражались подобно героям «Илиады». Все они были великолепны, громopodobны и невероятны. Но высокий звон речи гоголевской сотрясал душу, волновал ребенка, владел им как хотел. Да и отец, хоть не дитя, читал с волнением. Когда дошло до казни и Остап, в терзаниях на эшафоте не выдержал, крикнул: «Батько! Где ты? Слышишь ли ты все это?», а Тарас ответил: «Слышу» – отец остановился, вынул носовой платок, поочередно приложил к правому, левому глазу. Глеб встал, подошел сзади, обнял его и поцеловал – этим хотел выразить все восхищение свое и Гоголем, и отцом. Ему показалось, что и он мог бы выдержать эти мучения, а отец был бы Тарасом».

Так описывает Зайцев первую встречу ребенка с Гоголем. В начале очерка автор рассказывает о том, как вообще воспринимали произведения Гоголя дети. В отличие от взрослых (видевших в нем юмориста) – серьезно, и

особенно повести «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Тараса Бульбу». «Гоголь юной душе предстоит не весь, но героически-поэтической своей стороной», – пишет Зайцев. Но вот ребенок стал юношей: «Мертвые души», «Ревизор» – темы для сочинений «О значении Гоголя в русской литературе», о «гоголевских типах» – все это нужно, полезно... но казенно». Затем, «в студенческие годы, наступает перерыв. Гоголь прочитан, это «классик», великий писатель... ну и Бог с ним».

Как и в предыдущем очерке, Зайцев вспоминает о памятнике Гоголю: «Памятник вдохновлен новым пониманием Гоголя. Удачно или неудачно исполнен, в нем есть отголоски писаний о Гоголе Мережковского, Брюсова». В связи с этим упоминаются книга Дмитрия Мережковского «Гоголь и чорт» и статья Валерия Брюсова «Испепеленный. К характеристике Гоголя». По словам автора, в противовес трактовке Гоголя как основателя русского реализма, символисты обратились к «внутреннему миру» писателя: «Гоголь повернулся новой стороной. Интерес к нему усилился...» Касаясь новых подходов к языку Гоголя, Зайцев говорит, что Гоголя бранили за неправильности, а теперь видно, – «как своеобразными кажутся его строки, льющиеся по каким-то сложнейшим, лишь прозаикам ведомым законам... Как он *отделял* свои произведения». Пользуясь исследованиями академика Н.С.Тихонравова, Зайцев составляет себе верный взгляд на метод творческой работы Гоголя: «подготавливая к новому изданию, перечитывает он, выправляет свои писанья. Подтягивает и укрепляет фразу. Добивается большей яркости и живописности. Выбрасывает... лишние эпитеты». Что касается «Тараса Бульбы» – «он не усох, а раздался вширь. Тут дело особое... «Тараса Бульбу» Гоголь не то чтобы стилистически обрабатывал, а внутренне растопил и перелил в новые, обширнейшие формы. Получилось новое произведение».

Теперь перечитываются и «Ревизор», и «Мертвые души». «...Кажется, что глубже они поняты, Хлестаков и Чичиков представляются чуть ли не мировыми типами...» Но одной стилистической и лирико-философской стороной Гоголя это *второе* чтение не ограничивается. «Читатель пытается проникнуть за ограду Гоголя канонизированного и школьного, кончающегося первым томом «Мертвых душ». Теперь впервые прочтет он «Выбранные места из переписки с друзьями». Во всяком случае, читатель хочет узнать о писателе, с детства любимом, нечто большее. «Но он еще слишком молод. Его жизненный и душевный опыт мал. Он в полосе *только* эстетического отношения к писателю и о духовной жизни просто понятия не имеет».

Вспоминая годы революции, отъезд в эмиграцию, Зайцев говорит, что эмигранты покинули «Россию, Гоголя породившую». В изгнании русские писатели жили русскими интересами, русской культурой. Но страшно было не видеть перспективы возвращения. «Чем далее идет время, тем сильнее чувствуем мы здесь свое одиночество, – пишет Зайцев. – Все более *уходим* душою с чужой земли, возвращаясь к вечному и духовному в России. Вновь перечитываем многое, на чем возматывали, по-новому его ощущая. Становится почти жутко, когда подумаешь, что вот уже в последний раз пересматриваешь святыни родной литературы: Толстого и Достоевского, Тургенева, Гоголя.

Вечные спутники! Но не вечно самим себе равные, с разных сторон раскрывающиеся, по-разному воспринимаемые, сопровождающая нашу жизнь».

Зайцев говорит о прочтении Гоголя в новых условиях и в состоянии человека взрослого, многоопытного. При этом перечитываемый Гоголь – как бы иной. Даже детский восторг от «Тараса Бульбы» забывается, повесть кажется слишком простой по идее: «Тема Сенкевича, попавшая в руки Гоголя...» Но «Ревизор» и «Мертвые души» – не тускнеют. И тем не менее: «История с ревизором удивительна, написана каким-то необычайным существом, но подозрительна. Она создана человеком, еще не преодолевшим в себе Хлестакова». Много странностей открывается и в «Мертвых душах», но они – «крепче». Вместе с тем «сила галлюцинации» в поэме «родственна магии и – пожалуй – имеет даже неблагоприятный характер. Что-то есть в ней общее с вызыванием духов» – действия, характерные для «серебряного века» в среде интеллигенции.

Парадокс чтения углубляется, но в «лучшую» сторону: «И круг проникновения в Гоголя расширяется. Вновь появляются «Переписка с друзьями», письма, но теперь и «Авторская исповедь», и раньше совсем незамеченные «Размышления о Божественной литургии». В этих чтениях складывается более полное и сложное представление о Гоголе». Наконец, приходишь к мысли: «А другая его сторона совсем иная. С детства несокрушимая вера в Бога... «Страх Божий»... чувство великой ответственности за свою жизнь». Как почти никакой другой писатель, Гоголь заставляет и его самого принимать с глубоким интересом. «Был у Гоголя еще дар, прекрасный, но не дающий покоя: стремление стать лучше (сознавая свои несовершенства)». Аскетические устремления Гоголя становятся достоянием думающего читателя, начинают учить. Зайцев говорит, что «аскеза давалась Гоголю, по-видимому, трудно». По прочтении «Выбранных мест из переписки с друзьями» с мыслью о внутреннем устройении самого автора, Зайцев заключает: «Да, уж никак не назовешь здесь Гоголя христианином *среднего, серенького* типа! Не было в нем никакого *благополучия*! Или спасение, или гибель... «Переписка» книга такая, что читая ее в зрелом возрасте... нельзя ее *не переживать*. Она именно *не читается, а переживается*... Это книга героического духа».

Говоря о непонимании «Переписки» даже друзьями, Зайцев замечает, что дьявол «напустил тумана в глаза и навел марево даже на людей, казалось бы, *обязанных* Гоголя понять». Стиль «позднего» Гоголя изменился: «Мало зрительных образов. Тут уж нечем блеснуть. И не до блистания. Некий ровный, серовато-жемчужный налет над его страницами. А строка звучит тонкими, удивительными, гоголевскими – еще не изученными – ритмами». Относительно неудачи второго тома «Мертвых душ» Зайцев отмечает, что Гоголь «выдумывал лица неживые, разных Костанжогло и Муразовых, впадал в морализирование, неубедительно «обращал» к добру Чичикова, вводил какого-то добродетельного генерал-губернатора». Наверняка, Гоголь этим как художник не был удовлетворен. Он искал других путей. Зайцев предположил существование еще одного пути – спасительного для Гоголя, но не

осуществленного до конца – жанра духовной прозы. "Может быть, Гоголь, пройдя полосу крайнего морализирования, желая непременно поучать, чуть не насильно вести к благу, и успокоился бы и, взявшись за писание иного рода, где сияла бы его восторженность, его жажда небесных звуков, написал бы произведение живоносное, обвеянное Духом Святым. Но это не были бы "Мертвые души". Намеком на такую, возможную, удачу является замечательное его предсмертное произведение "Размышления о Божественной Литургии". Не берусь судить о нем со стороны богословской. Но как поэзия и литература это прекрасно, полно истинной гармонии, духовности и под скромным обликом описания церковной службы дает в самом напеве своем, в прозрачности, внутренней просветленности как бы отражение в словесности духа Литургии. В "Размышлениях" Гоголь поступил как музыкант, в зрелом возрасте перешедший от сочинения светской музыки к созданию церковной».

«Может быть, – продолжает далее Зайцев, – если бы он вполне оставил прежние литературные формы и для нового своего духовного содержания искал нового писания, не имеющего отношения к Чичиковым, но и лишённого дидактизма (ведь и "Размышления" ничего не навязывают, они изображают, отображают) – возможно, все было бы по-иному и жизнь его приняла бы другой вид". Но этого не случилось.

Итак, писатель Борис Зайцев на протяжении своей жизни от детства до взрослой зрелости читал произведения Гоголя, в каждом возрасте и при разных обстоятельствах находя в них новые грани, чуть ли не новое содержание. «Опасение, что Гоголя слишком хорошо знаешь, что он исчерпан и при перечитывании не даст нового или даже побледнеет, не оправдывается. Читаешь его по-иному и находишь не совсем то, что думал найти... Но находишь очень многое. Замечательна разница с Толстым. Перечитывая Толстого, в сущности, дальше «Войны и мира» и «Анны Карениной» идти не хочется. С Гоголем иначе, хотя сильнее первого тома «Мертвых душ» и он ничего не написал. Но своим путем, фигурю – Гоголь зовет дальше».

Символисты сказали новое слово, замечает Зайцев, но не поняли Гоголя во всей его полноте. Обузили его. «Не выудишь из Валерия Брюсова, что Гоголь любил детей, а это именно так: вот этот Гоголь, якобы только и занимавшийся чертовщиной, детей любил, и дети его любили». Восхищается Зайцев нестяжательностью Гоголя «Нищенство есть блаженство, которого еще не раскусил свет», – приводит он слова писателя. – Но кого Бог удостоил отведать его сладость и кто уже возлюбил свою нищенскую сумку, то не продаст ее ни за какие сокровища здешнего мира». В заключение своих размышлений о Гоголе Зайцев пишет: «Сомнения, тоска, даже отчаяние посещали его. Посещало и страшное чувство безблагодатности, оставленности Богом. Крест тягчайший! Но с какой покорностью, смирением он его нес!.. Все равно он прожил героически. И заслужил терновый венец – увенчание великих жизней, пусть и кажущихся неудачами».